



Дарья Плещеева

МАССАЖИСТ

Дарья Плещеева

Массажист

«ВЕЧЕ»

2016

Плещеева Д.

Массажист / Д. Плещеева — «ВЕЧЕ», 2016

ISBN 978-5-4484-7098-1

Любовь – нелегкое испытание не только для людей, но и для ангелов. Ангелам дана немалая власть над судьбами – но и спрос с них строгий. Они могут вести душу через испытания – чтобы мать, неспособная полюбить сына, вернулась на землю и узнала силу слепого и жертвенного чувства к ребенку, чтобы отец, не сумевший вырастить дочь, вернулся на землю и стал ей верным другом... И как знать – может, чудаковатый парень, не имеющий на земле пристанища, нищий и безответный, на самом деле – ангел в поисках любви и искупления? А люди порой и не подозревают, какая сила любви кроется в их душах. «Массажист» – роман о поисках своей внутренней сути и о том, что счастье возможно, если простить старые обиды и впустить в свою жизнь новых людей.

ISBN 978-5-4484-7098-1

© Плещеева Д., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Пролог	6
Глава первая	10
Глава вторая	20
Глава третья	26
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Плещеева Дарья Массажист

© Плещеева Д., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Пролог

Дитя было вымоленное.

Мать носила его в непрестанной радости. Мир наконец-то сделался к ней ласков.

Похоронив никчемного мужа, любовь к которому давно иссякла, оставшись с больным сыном на руках, сама тоже – постоянная обитательница больничной палаты, она смирилась с тем, что цель ее жизни – поднять ребенка, и не более того. Мир против, мир возражает, ну да уж как-то придется потерпеть.

Напротив окна росла рябина – женское дерево. Мало кто обратит внимание на ее пушистые белые соцветия, когда бело-розовые свечи каштана стоят пряменько и царственно, словно райские рождественские елочки, когда сады – опустившиеся наземь чистейшие облака. А вот ближе к сентябрю является миру ее бескорыстная красота, потому дерево не девичье, выручает тех, что впустили в душу осень.

Мать уже умаялась считать эти осени – она овдовела, не достигнув и тридцати. Просить у рябины ей было нечего – мужчин после смерти мужа она не знала, даже их любопытных взглядов на улице ни разу не ловила. Она была неприметна и одевалась так, чтобы слиться с фоном, ей это удавалось, и она радовалась тому, что может всюду проскользнуть быстрой мышкой, без многозначительных встреч и без разочарований. Так она решила для себя, так и жила.

Утром она вышла на балкон – снять с веревки бельишко. Ей нравилось, когда вещи сушились на ночном ветру, – нигде более не встречала она такого аромата. Внизу, у рябины, стоял человек. Он поднял голову, увидел ее в халатике, она застыдилась и, сдернув бельишко, поспешила прочь. У нее впереди был трудный день – с утра в больницу к шестнадцатилетнему сыну, потом – на работу, в обеденный перерыв – на рынок и вечером – опять в больницу.

На следующее утро она опять увидела сверху того человека. Разглядела, что в руке у него был собачий поводок. Ей стало ясно: так вот кто поселился в соседнем подъезде, в однокомнатной квартире, откуда выехали старики Корнейчуки на постоянное место жительства в Германию.

Из всех деревьев, где молча стоять, пока черно-белый пятнистый пес носится по траве, он выбрал именно рябину. Или же рябина притянула его – он тоже вошел в пору осени, только осень была мужская, поздняя, умиротворенная, не с одиночеством-карой, а с уединением-наградой.

Вскоре они встретились вечером у троллейбусной остановки и поздоровались молча, она – взглядом, он – кивком, и ей понравился этот короткий резкий кивок. Тогда же она поняла, что мужчина стар, ему за шестьдесят, хотя держится очень прямо. Его выдавали даже не морщины, а худоба – под одеждой было тело, мышцы которого увядали и съеживались, как будто человек в них более не нуждался.

Однако по утрам, когда она выходила на балкон, а он стоял под рябиной, возраста не было – и однажды натянулась струнка долгого взгляда.

Потом они поняли, что нужны друг другу.

Вот именно такие – тихие, серенькие, словно вылинявшие, оставившие себе из плоти лишь то, что нужно для поддержания жизни, и потому ощутившие внутреннее родство: они тихонько сошлись, не имея в мыслях ничего иного, кроме недолгих бесед вечером, пока носится по траве пес. Оба были необщительны – и беседы эти полностью удовлетворяли почти усохшую потребность в человеческом обществе.

Узнав, что он недавно похоронил единственную дочь, она смутилась, уже почувствовав, к чему приведет эта встреча. Он так внимательно расспрашивал о сыне, которого врачи все готовили, да так и не могли подготовить к операции, что жалость обожгла ее, сперва как спи-

чечным огоньком палец, потом стала жечь изнутри постоянно. Чувство это помещалось где-то у самых глаз – глядя на своего друга, она еле удерживала слезы.

Это было самое сильное чувство за последние десять лет – если не считать вспышек тревоги за сына. Но сын – дело особое, материнский долг изложет душу, когда вспышка недостаточна сильна. Тут же получилось совершенно добровольно и непредсказуемо.

Если бы ей сказали, что так пришла любовь, она бы возмутилась – любовь ей была известна. Именно жалость к человеку, оставшемуся без ребенка, без всяких иных страстей и волнений, с одним лишь старым псом, одолела ее. И она поняла, что родит этому человеку дитя. Ибо дитя было ему необходимо, а иного пути заполучить младенца в дом она не то чтобы не знала – а не желала. Ребенка следовало не принести откуда-то, а родить – и она стала создавать в себе дитя, и в суете своей обрела тихую радость.

Она просила о ребенке всех – она прикасалась тайком к одежде беременных, надеясь, что они поделятся с ней своей благодатью, она ставила свечи перед образом Богородицы, она благословляла звериных малышек.

Еще она внимательно разглядывала детишек ползункового возраста, ища в их лицах ту красоту, которую непременно должна воплотить сама. Идеальных лиц не попадалось – и она впадала в раздражение художника, готового создать шедевр, способного создать шедевр, но не умеющего пригласить натуру.

Она мечтала о белокуром ребенке. Сама она была русоволосой, друг в молодости, кажется, тоже. Но она представляла будущего сына блондином с прямыми длинными волосами – так ей было легче мечтать.

Кроме того, ей казалось, что редкая близость с другом может оказаться напрасной. А объяснять ему свой замысел она не хотела: она сохранила какую-то древнюю стыдливость и даже мысленно не могла подобрать для такого объяснения подходящие слова, выговорить же их или написать казалось совершеннейшей фантастикой.

Но молитва была услышана. Когда рябина в третий раз стала по-женски прекрасной, родился сын.

Старший к тому времени немного окреп, и изводившие его аллергии отступили. Старший понял, что он во всем уступает ровесникам, и решил выковать себе мужской характер. Он ушел из дому, оставив короткое и суровое письмо. Она, прочитав, рассердилась, но ее счастье было слишком велико – ей был дарован младенец, и она не понимала, как можно отвлекаться на что-то иное.

Немного погодя она ощутила угрызения совести – как будто, заведя младшего ребенка, выгнала из дома старшего. Сама она никогда не испытывала ревности и забеспокоилась, что не угадала вовремя ревности восемнадцатилетнего мужчины к новорожденному.

Отец младенца, немало смущенный поздним своим счастьем, растолковал ей, что мальчики должны покидать материнский дом, чтобы потом, угомонившись и что-то себе доказав, вернуться, а ревность тут ни при чем.

Мать немного поспорила, давая отцу возможность еще старательнее успокоить себя, и занялась младенцем. Он был удивительно светел – ей даже казалось странным и тревожным, что женщина в сорок лет, с вечными болячками, пропитанная фармакологией, родила такое чудо.

Мальчик был белокож и желтоволос, жил по непонятным матери законам: в иную ночь мог проспать шесть часов подряд, в иную – не спать вовсе, барахтаясь в постельке, после кормления проявлять недовольство, ловить ручками непонятно что и радоваться, глядеть на родителей и печалиться.

Отец называл его подарочком, делал для младенца все что мог, но мать видела – подарок пришел в его жизнь слишком поздно, когда иссякли силы души. Она преувеличила его тоску по умершей дочери, теперь это стало ясно. Она поторопилась и лишилась того огонька, что жег

ей изнутри глаза при взгляде на сухую и сутулую фигуру друга, на его умное и печальное лицо. Жалости больше не было – была связь, как у двух лошадок, впряженных в одну телегу, именно связь – как с отцом старшего сына, которого она никак не могла бросить, – так ей казалось, и она боялась себе признаться, что мужчина теперь – лишний.

Все, как думала она, повторялось, хотя ребенок был совершенно другой. И радость также была другая – не сиюминутная, а имеющая в основе своей воспоминание о тех молитвах, что женщина творила, мечтая стать матерью. Тогда был полет, теперь – тяжкие шаги по земле.

И, глядя на мальчика, зачатого в состоянии полета, она могла, задумавшись, не ответить улыбкой на его улыбку – ей все казалось, что произошла какая-то ошибка...

Мир стал к ней добрее – и проснулись тихие желания, и она захотела быть такой, какой до сих пор быть и боялась, и не умела. Она догадывалась, что новым своим мироощущением обязана ребенку, и благодарила его, как умела.

Ее друг забеспокоился, когда она перестала говорить. Сперва это было не очень заметно, потому что женщина, как большинство ровесниц, пристрастилась к телевизору, и квартирка была полна звуков. Но он не раз и не два видел, как мать, играя с малышом, не агукает, не лепечет милую околесицу, а беседует с ним руками, заменив слова на прикосновения и сложные фигуры пальцев. Ребенок прекрасно ее понимал. Когда же отец попытался освоить этот язык, ребенок уклонялся от его рук с изяществом кошки. Говорить он не хотел, и отцу пришлось потрудиться, внушая ему первые слоги и слова.

Странные отношения с онемевшей подругой стали его тяготить. Его душе и телу требовалось уединение. Оно давало тот покой, в котором можно жить и жить, не тратя себя на суету, – в сущности, оно было обещанием бессмертия, ибо избавляло от необходимости следить за течением времени по изменениям на лицах близких и просто знакомых людей. Разве что пятнистый пес – но без пса было бы совсем грустно. Пса мужчина взял в собеседники – и в конце концов ушел к нему окончательно.

Мать сделала над собой усилие – наконец уволилась с работы. Она очень хорошо вязала и могла кормиться заказами – то есть обходиться почти без слов, показывая клиенткам фотографии в журналах, снимая мерки и записывая на бумажках, какой пряжи и сколько нужно принести. Она поверила миру в том, что он пришлет людей, имеющих нужду в рукотворной красоте. И этим доверием она тоже, возможно, была обязана сыну.

Ребенок рос здоровеньким, но неразговорчивым. Язык пальцев и жестов был недоступен детишкам из детсада. Потом, в школе, мальчик стал изъясняться так, что дети его не понимали, и только старая опытная учительница смогла осторожно отучить его от словесных выкрутас и обучить простой речи. И она же, обнаружив его, восьмилетнего, с одноклассницей, которой мальчик что-то объяснял руками, прикасаясь к телу, не подняла переполох, а деликатно погасила ситуацию. Но вопрос о переводе мальчика в спецшколу она все же на педсовете поставила.

Мать явилась по звонку в учительскую и только развела руками. Она показалась всем очень странной. Но оба, и мать, и сын, были, в сущности, безобидными – и все осталось как есть.

Неизвестно, поняла ли мать, для чего ее позвали в школу. Ее мир сузился до пальцев и узоров. Добрая соседка взяла ее под свою опеку и постоянно нахваливала ее мастерство. Пальцы выплетали тончайшие кружева с птицами и махровыми розами. Мать могла вязать в абсолютной темноте и не всегда знала, чем завершится начатая цепочка воздушных петель. Сын помогал ей прикосновениями – детские пальцы ложились на незавершенный петельчатый лабиринт и показывали самый удачный выход. Но потом ребенок утратил это свойство.

Это случилось, когда он наконец заговорил обычным для школьника образом. Тогда же материнский талант стал гаснуть, она вернулась в мир, где разговаривают, и узнала, что у мальчика больше нет отца.

Это случилось весной, она вышла на балкон, увидела цветущую рябину, захотела передать дорогой пушистой пряжей скромную грацию белых соцветий – и не смогла.

Оба они, мать и сын, стали совсем обыкновенные. И даже говорили так, как положено матери и сыну, – она ругала его за плохие оценки, он огрызался. Казалось, из их совместной жизни изъяли несколько лет ради их же блага. Из материнской памяти – вместе с беспрестанной радостью, в которой она создавала свое дитя, оставив при этом пустое место и не давая времени пустоту эту осознать. Некому было сказать матери и сыну, что они получили передышку, время отпущено на сон души, необходимый, чтобы набраться сил и однажды проснуться.

Глава первая

– Прости, не могу, – сказал Сэнсей, глядя мимо глаз. – Ну, не могу. Придумаешь что-нибудь.

– Придумаю, – отвечал Н.

Сейчас он уже не мог бы сказать определенно – рассчитывал ли, что Сэнсей предоставит ночлег, или догадывался о таком печальном повороте. Собственно, скорее догадывался, чем рассчитывал, – всякий раз, как к Сэнсею приходила женщина, он без церемоний выставлял Н. даже в тех случаях, когда имелась договоренность о ночлеге, а женщина валилась как снег на голову.

Это была особенная женщина, умевшая каждый свой шаг превращать в событие. Она как-то заполучила власть над Сэнсеем – может, и без особого труда, потому что этот коренастый лысоватый мужичок женщинам не очень нравился. Или же она ему была на роду написана, а такая запись сильнее страстей и рассудка. Звонок этой женщины был для Сэнсея как глас небесной трубы. О том, что за звонком – отъезд мужа в двухдневную командировку, он конечно же знал.

Считалось вполне нормальным, что Н. отправится ночевать на вокзал в зал ожидания. А наутро придет – позвонив предварительно, потому что Сэнсей не хотел его знакомить со своей женщиной, – и продолжатся занятия. Оба разденутся до плавок, Н. ляжет на кушетку. Сэнсей покажет ему новое сочетание приемов, Н. оценит сочетание щипков с встряхиванием, а потом проделает свежеизученное на спине Сэнсея.

И будет за это безмерно благодарен.

Как и за пару стаканов горячего чая с бутербродами на мрачноватой кухне. Как и за умение Сэнсея не задавать странных вопросов: мол, с кем, как и роскошно ли живешь, где работаешь, сколько зарабатываешь...

Возможно, вопросы были бы заданы, печальные ответы получены, и это обязало бы Сэнсея дать хоть какой-то совет. Даже предложить помощь.

Но Сэнсей имел свои понятия. Он, медик с двумя дипломами, не отказывал в профессиональной помощи даже самоучке Н., это для него входило в моральный кодекс Гиппократов, но приносить в жертву личную жизнь ради человека, неспособного купить к ужину хоть сто граммов колбасы, не умеющего поздороваться с соседями, не понимающего, что за собой нужно убирать как постель, так и кавардак в ванной.

Сэнсей испытывал презрительную жалость, жалостное презрение и действовал соответственно. Однако бывали минуты, когда он нуждался в Н. Ему самому было за эти минуты страх как неловко, он сам себя не понимал, несколько раз давал себе слово поставить точку в этой полу-дружбе, полу-хрен-знает-чем. Он знал: будь Н. иным, отношения вообще бы не сложились. Ибо Н. никогда не возражал, а Сэнсей был рад тому, что еще для одного человека стал капризным хозяином, самовластно решающим, когда карать, когда миловать.

Возможно, Сэнсей уже давно бы собрался с духом и прекратил свою благотворительность, но человек слаб и ловок по части оправдательного вранья самому себе, вот и Сэнсей постановил для себя так: ему любопытно, догадается ли Н. наконец о таком к себе отношении, а если да – то найдется ли в этом человеке хоть капля гордости. До сих пор не находилась.

Н. меньше всего помышлял об игре в гордость. Здесь, в Большом Городе, он чувствовал себя неловко – как дворняжка, забежавшая из родного переулочка на широкий проспект с движением в шесть рядов и тысячными толпами равнодушного народа. Как дворняжка не обижается на пинок, которым ее, возможно, спасли от смерти под колесами, так Н. не обижался на Сэнсея и ему подобных. Он приезжал сюда за новинками массажного промысла, Сэнсей этими новинками с ним делился – чего же больше? Еще Н. встречался с несколькими знако-

мыми, никто из которых не предлагал ночлега, а только приятный многочасовой разговор. А о постоянных клиентах и говорить нечего – он приходил в дом или даже в офис, выполнял свою работу, получал скромное вознаграждение и без разговоров удалялся, потому что больше не был нужен.

Выходя из подъезда и привычно изворачиваясь, чтобы вместе с рюкзаком не застрять в дверях, Н. вдруг сообразил, куда можно податься.

Километрах в двадцати от Большого Города было озеро, на берегу стоял пансионат, и в этом пансионате время от времени собирались всякие неожиданные тусовки. Н. бывал там на фестивалях самодельной песни и знал, что три дня фестиваля для обслуживающего персонала – апокалипсис в натуре, потому что в первые же часы исполнители и публика напиваются до поросычьего визга, а потом с каждой электричкой из Большого Города прибывают десанты, и на всех этажах звенят гитары, и в парке жгут костер, и на берегу тоже что-то шумное происходит. В таком бедламе никто не обратит внимания, если обнаружит в холле на шестом этаже неизвестного человека, спящего на диване.

Фестивали проводились обычно осенью – и на сей раз приезд Н. приблизительно совпал с этим событием, он только не планировал тащиться в пансионат. Правда, он не был уверен, что не перепутал даты, но географию пансионата знал достаточно, чтобы просочиться на шестой этаж незаметно.

Там холл был не такой, как на прочих этажах, а отгороженный от коридора фанерной стенкой, человеку немногим выше пояса, к которой примыкали задние стенки диванов. И еще там не было телевизора – так что и сидельцев тоже. Третий плюс – Н. знал, где каморка уборщицы с краном и раковиной. Открыть ее было несложно – все железки слушались его, как отца-командира, он даже сам соорудил простенькое устройство, чтобы бесплатно говорить по телефону-автомату новой системы, с чип-карточкой.

Н. прибыл к озеру предпоследней электричкой.

Он не был тут уже года два и поразился количеству новостроек. Вся городская элита дружно рванула в этот тихий уголок, и особняки выросли один другого краше – если не с готической башней и подземным гаражом, то с зимним садом и будкой у ворот из дикого камня.

Уже на подступах к пансионату Н. услышал пронзительную, хуже зубной боли, губную гармошку и понял – свои! Не просто переночевать, а, возможно, и поесть удастся. Раз уж не удалось у Сэнсея.

Он действительно встретил ребят, с которыми познакомился года два, а может три, назад, чьих имен не знал, да и они не знали его имени, и это было совершенно не важно, Н. был рад и тому, что вместе с этими ребятами благополучно миновал вестибюль и попал к площадке перед лифтами.

Раздвижные двери разъехались, вывалилась компания с двумя гитарами. Сегодня эти немолодые бородатые дядьки были короли – они выступили в общем концерте и теперь спешили к озерному берегу, где раз в год имели возможность всю долгую ночь, подогреваясь из горла, исполнять драгоценный свой репертуар в стиле «горит костер, сушу портянки».

Они все еще носили клетчатые рубахи давнишних неумных туристов, классические рубахи шестидесятников, хотя сами были куда как помоложе поколения физиков-лириков-ребят-с-рюкзаками. Мир мог перемениться окончательно – они сохраняли верность кумирам и гитарам своего детства. И их подруги были точно такие – в сорок с лишним носили волосы в два хвостика и улыбку девчонки-своей-в-доску.

Они держались за ушедший мир, в котором, как они полагали, царило радостное бескорыстие, а цену имела только песня. Казалось бы, Н. тоже должен был любить этот мир, идеальную среду для своей безалаберности, но он очень хорошо понимал, что сейчас в пансионате правит бал мир-призрак, а с потусторонними явлениями он старался дела не иметь. Разве что в безвыходном положении.

Н. спрятал рюкзак на шестом этаже между диванами и спустился вниз, в бар, где уже началась более солидная ночная жизнь. Кто-то окликнул его, но опять-таки не по имени, и он кому-то помахал рукой и стал высматривать, не сидит ли за столом человек, достаточно знакомый, чтобы подсесть и вписаться в общий круг, пусть, заказывая чай, посчитают и его, Н., потому что у него просто пока не было лишнего рубля на этот самый чай. Он еще не обзвонил клиентуру, не договорился о сеансах и на деньги мог рассчитывать разве что недели через полторы, но это его не слишком беспокоило.

Хотя он не рассчитывал на стопроцентное гостеприимство Сэнсея, но как-то так не учел, что будет выставлен без ужина...

Собственно говоря, Н. даже и не знал, действительно ли ему чай не по карману. Он уже целую вечность не покупал еды и плохо представлял, сколько она стоит. В Родном Городе его кормили мать и тетка, в странствиях – кто попалю.

В баре можно было даже встретить кого-то до такой степени знакомого, чтобы увязаться за ним в номер, а в номерах всегда находятся пачки печенья, прихваченные с ужина булки и даже бутерброды с колбасой. Опять же нальют. Иногда это невредно.

Н. пошел вдоль столиков – а бар, кстати, представлял собой длиннейшую кишку, прилавок находился за три версты от входа, и попасть к нему мог только отчаянный боец – там на пяточке танцевали, и танцевали бурно.

Н. с кем-то поздоровался, но ответа не получил. Вроде бы и тусовка была знакомая, бардовская тусовка, с которой он уже раза два или три пересекался, вроде с кем-то их этих, за столиками, даже перешел на «ты», однако сейчас никто его за своего не признавал.

Ему не привыкать было из чужаков становиться своим – на вечер, на сутки в поезде, на неделю даже. Пока кормят. И равным образом он легко уходил, когда ему давали понять: хорошего понемножку.

Его отодвинула официантка с подносом. Она пробиралась к длинному, составленному из трех, столу, неся много всякой вкусной всячины – колбаски жареные, мясное ассорти, еще какие-то мисочки, бокалы, кофейные чашки. Н. посмотрел: за столом сидела плотная компания, все свои, никто по сторонам не тарачился, общались как друзья, давно не имевшие радости беззаботного общения.

Среди них имелись две женщины. Одна была занята собеседником, более чем занята – это Н. разглядел даже в полумраке. Другая временно выпала из разговора и смотрела на веселье в баре очень неодобрительно.

У нее было такое лицо – злость и тоска сделали его острым, такое лицо, которое необходимо, чтобы треснуть кулаком по столу и послать всех к чертовой бабушке. Такое лицо...

Н. понимал телесный язык куда лучше, чем словесный. Во взгляде, в губах, в наклоне стана он увидел близость смерти. Что-то гибло, какие-то жизненно необходимые клеточки, они прямо на глазах выгорали, переплавлялись, меняли свойства.

Никогда не учив медицины, он тем не менее знал болевые точки так же хорошо, как если бы они светились сквозь кожу. Женщина мерцала нехорошим светом... было в нем что-то странное, как будто живое тело испускало неживое, лиловатое, как спирт, люминесцентное свечение...

Н. достаточно знал женщин, чтобы прочесть послание. Эта сообщала, что одинока, болезненно одинока на этом празднике и будет благодарна тому, кто свалится на нее как кирпич с крыши, – лишь бы одиночество отступило. Благодарность же выражается материально – в бутерброде и стакане чая. Идеально – в месте под одеялом.

Музыка так гремела, что Н. твердо знал: в этом шуме он сам себя не услышит. Так что лучше было бы обойтись без слов.

Н. подошел к сердитой даме, поклонился и показал рукой на танцующих. Она резко встала. Тогда он предложил согнутую руку, чтобы довести ее до пяточка. Она не глядя на него

приняла руку, положила свою на его рукав и пошла, опережая его, как будто сто лет не танцевала и хочет немедленно наверстать упущенное.

Места для нормального танца было мало. Они топтались, как и все, активно двигаясь, но не имея простора, и Н. понятия не имел, с чего начать разговор, – очевидно, она не столько хотела танцевать и знакомиться, сколько уйти из-за того стола. Однако его руки уже прикоснулись к ее рукам...

Ощущение было – как будто под кожей стальная пластинка.

– Ты что, жонглер? – вдруг спросила она. Громко – иначе не имело смысла.

И потрогала пальцем мозоль, с которой Н. уже не знал как сражаться.

Мозоль выросла между большим и указательным пальцем, была большая, грубая, все время трескалась. Н. извел на нее прорву мазей, парил, вымачивал – где сидела, там и осталась.

– Нет, я не жонглер, – удивленно ответил он. – А собственно, почему?

– У них такие мозоли, от колец. Кольцо приходит в руку вот так... – она показала ребром ладони, показала так, что Н. сразу ощутил край тонкого пластмассового кольца, почему-то белого, которое приходит и сразу взмывает вверх, и так – все четыре часа репетиции.

Очевидно, и ей был известен язык тела. Сейчас, впрочем, ее тело отмалчивалось – или же сидело в засаде, ожидая своей минуты.

– Я массажист, – сказал Н. – Когда делаешь щипковый массаж, нагрузка вот на эти места.

Он сделал движение кистью, чтобы ей было понятнее.

– Щипковый – это как?

– Ну...

Он пожал плечами – в самом деле, как, танцуя, объяснить это? И вдруг музыка смолкла.

– Пошли к нам, – приказала она и не оборачиваясь направилась к столику. Тому самому, на котором уже стояли тарелки с колбасками, блюда с салатами и мясным ассорти. Это было кстати. Н. поспешил следом. Когда оставалось полтора шага, он прихватил пустой стул.

Они вынуждены были сесть, крепко прижавшись друг к другу. Женщина сразу потянула к себе через весь стол салат и ассорти.

– Ешь, – сказала она. – Это несъедобно, но на пустой желудок тут всю ночь не выдержишься.

Она приказывала очень твердым голосом, а ее тело было в смятении, ее глазам и рукам чего-то не доставало. Они были в поиске. Но поиск чем-то ограничивался – был угол бара, куда она не смотрела. Угощая Н., она честно попыталась поесть сама: взяла три кружка сервелата и грызла их, но в пище она не нуждалась – просто соблюдала тусовочный застольный этикет. Н. поел очень быстро – он порядком проголодался. За столом провозгласили тост – он выпил вместе со всеми, стало тепло и радостно.

Потом они опять танцевали. И именно в танце она вспомнила про мозоль, опять коснулась ее длинными пальцами с накрашенными, но короткими ногтями. Н. понял, что вот теперь уже начинается игра, обычная игра женщины с мужчиной, и разыгрывается дебют «осторожные провокации». В миттельшпиль женщина перешла тоже вполне достойно – один, другой и третий ее взгляд прямо в близкие глаза Н. были долгими и уверенными. Как будто говорила: ну и куда ты теперь от меня денешься?..

В танце Н. ее и поцеловал. Легко, намеком. Настоящий поцелуй у них произошел в лифте, когда они ехали к ней в номер.

Это оказался номер люкс, насколько вообще возможен люкс в пансионате, построенном лет двадцать назад. И женщина занимала его одна. Н. осмотрелся – на кресле лежала ее сумка, сложной конструкции и явно дорогая, возле шкафа стояла еще одна, дорожная, на колесиках.

Хозяйка номера ушла в душ, а Н. сел на широкую тахту и начал расшнуровывать кроссовки. Нужно было снять и спрятать носки, пока она пропадает в душе. На шестом этаже, в рюкзаке, были, конечно, и другие носки, но не бежать же сейчас туда...

Он опять угодил в приключение. Ему предложили порцию столичного салата – он взял. Ему предложили ночь – он не отказался. Хотя было на душе малость тревожно, он уже чувствовал эту женщину и беспокоился, не завершилась бы ночь истерикой.

Она вышла из душевой в халатике.

– Теперь ты, – сказала она. – А, кстати, как тебя зовут?

Н. хотел было ответить, но тут в дверь постучали.

– Тс! – женщина быстро поднесла палец к губам и перешла на шепот. – Вычислили! Вот поросята! Свет...

Она сама шелкнула выключателем. Н. сообразил: пансионат был как буква «Г», и из соседнего крыла при желании можно было заглянуть в окно этого номера.

Темнота его устраивала. Он не нуждался в зрении, чтобы отпустить на свободу руки.

Разумеется, он сразу же нашел зажим в трапецевидной – мышцы справа и слева были как два тугих бочоночка, он стал осторожно их высвобождать, выласкивать, чтобы они перестали каменеть, ожили, вздохнули с облегчением.

Кожа оживала, подкожный холод разошелся под опытными руками. Тепло, которое Н. выманил из глубины тела, разрослось и распространилось. Оно было как жаркое солнце в полдень на морском берегу – пробирало насквозь и лишало способности двигаться.

Женщина подчинялась – ей было приятно. Из чего следовало, что нуждалась она не столько в сексе, сколько в видимости секса, как Н. и предполагал.

Но сам он уже хотел близости.

Его руки быстро и ловко проделали все необходимое – женщина тоже захотела. Было уже не до гигиены.

В жизни Н. случилось уже достаточно подобных скоропалительных романов, и он знал свою роль в них назубок – женщины весело пользовались его готовностью к авантюре, а может, просто покупали его за бутерброд и чашку кофе, за малую цену получая немалое удовольствие. Одно то, что женщина шла на эту сделку, многое говорило ему, а информация, приносимая пальцами, довершала картину. Вот и сейчас – вроде бы и слов-то никаких не прозвучало, а Н. по некоторой суетливости знал: женщина глубоко уязвлена и непременно должна доказать всему миру, что, несмотря на свои неприятности, соблазнительна, активна и счастлива. Кроме того, много значила и его внешность.

Н. был из породы вечно юных. И в тридцать лет его тело оставалось тонким, гладким и безволосым. Кроме того, он был от природы белокур – такие слегка вьющиеся волосы нежного оттенка, с золотым отливом, мамина гордость, бывают у мальчиков, пока их не начинают коротко стричь. А вот с кожей было какое-то недоразумение – она совершенно не принимала загара. Поэтому Н. старался не появляться на пляжах. Имел он еще одну особенность – зримое отсутствие мышц.

Ноги у него были сильные – поди-ка побегай по трассе с сорокакилограммовым рюкзаком. Руки и спина были сильные – массажист все-таки. Пресс напоминал стальную пластину. А раздеть и посмотреть – удобо и даже некоторая мягкость, едва ли не женственность очертаний. Особенно голени и бедра – как у мраморной нимфы.

Женщины пользовались, но правды они не знали.

Правда же была в том, что, увидев они себя со стороны в самые горячие минуты, поразились бы легкому свечению, исходящему от собственной кожи. Н. умел окутать женщину нежностью, чтобы как раз сквозь кожу впиталась мысль: «Не может быть, меня любят!» У него это получалось само собой, и следующая мысль, исходящая струйкой из самых кончиков его пальцев и растекавшаяся по телу, как ароматное масло, была: «Не может быть – я же прекрасна!»

Но в результате утро становилось горьким и скорбным. Женщины вспоминали две ночные мысли, им делалось неловко за свою наивность, и они принимали независимый вид: захотела стройного блондина – получила, дальше – ничего...

Он обычно скоро ощущал, что стал нежелательной персоной. Сперва немного удивлялся, потом понял: таково, видать, его место в жизни. И даже не придавал значения такому обстоятельству: он и смолоду не бегал за девочками, он шел к взрослым женщинам, связь с которыми возникала без ритуалов ухаживания и уговаривания. Как-то он вылавливал в мире именно тех женщин, которым нужна была лишь ночь. Впрочем, всякое случалось...

На сей раз все шло обычным путем, вот только женщина попала какая-то ускользающая. Она была с ним – и не с ним, он чувствовал это так, как если бы руки находили в темноте еще чье-то тело, третье, бесстрастное и совершенно лишнее.

Наконец Н. и его незнакомка получили свое, молча устроились поудобнее и заснули.

Рано утром Н. проснулся, осторожно выбрался из постели, почти бесшумно принял душ, оделся и пошел на шестой этаж за припрятанным рюкзаком. Перетащив его в номер, Н. переоделся, спрятал грязное в особый пакет, потом побрился. Борода у него почти не росла, разглядеть ее было мудрено, но пальцы прекрасно знали новорожденную щетинку. Н. оставил бы ее, но ему показалось, что ночь будет иметь продолжение, и он постарался придать себе достойный вид.

Когда она проснулась, он уже сунул в чашку найденный на столе кипятильник и спросил, что дама предпочитает, чай или кофе. У нее была с собой баночка растворяшки, он приготовил две порции. Там же, где кипятильник, обнаружилась и разорванная пачка печенья с приторной начинкой. Н. ел все – печенье тоже съел. Мыть чашки не стал – ему и в голову не пришло, что это можно сделать моментально. Зато поддерживал светскую беседу – что-то такое говорил про озера и про рябиновую рожицу, которую заметил тут года два назад.

Он говорил и недоумевал: что за странная женщина попала на сей раз.

В отличие от него, она была смугла, и даже очень. Он знал этот цвет загара – приобретаемый в солярии. Но ее кожа от природы была бледно-темной, натуральный загар был бы не столь коричневым, сколь буровато-серым – Н. видел такой загар у нескольких мужчин. Сейчас вообще полуголое тело обрадовало бы любого художника – утреннее солнце, падая на обнаженные бедра, придавало коже какой-то особенно теплый оттенок, но оставшиеся в тени икры и лодыжки были по контрасту явственно зеленоватые. Ступни же она спрятала под край одеяла. Н. и это понимал – он встречал людей, у которых ступни постоянно мерзли, даже на солнце.

Покупной загар ее старил – ей следовало бы поберечь лицо. На лоб спадали темно-каштановые волосы химического колера. Будь волосы и осунувшееся лицо немного светлее, Н. счел бы женщину своей ровесницей, может быть, года на два помоложе, а так – все тридцать пять, и то при удачном освещении.

Женщина была из благополучных – ее вещи, разбросанные по номеру, только что сами не выставляли напоказ ценники с нулями и лейблы. Зеленое платье, в котором она отправилась вечером в бар, даже неопытный по части дорогой одежды Н. не назвал бы магазинным – тут потрудился модельер, имеющий хороших закройщиков и портных.

Но в придачу она была ленива и неряшлива – взяла чашку в постель и пила лежа; ставила эту чашку на простыню, чтобы освободившейся рукой потянуться за печеньем; на то, что крошки сыпались ей на грудь и на простыню, и на коричневатые влажные круги от донца чашки совершенно не обращала внимания. Н. сам был опрятен в меру, но это даже ему показалось странным.

Н. уж и не знал, как быть с именами, – он и своего не назвал, и ее имени не узнал, а сама она с церемониями не спешила. Просто пила кофе, потом взяла листок с расписанием фестиваля, молча прочитала, полежала с пустыми глазами. Н. тоже молчал. Он все яснее пони-

мал, что зря тащил сюда рюкзак, – нужно было убираться. Хотя ночью все получилось замечательно, сейчас женщина явно выразила желание избавиться от свидетеля своей слабости, он же – инструмент ее блаженства.

– Стой, – сказала она. – До обеда у них там семинар какой-то, ну его... После обеда концерт Сидяковых. Успеваем.

Она села, подтащила к себе большую дорожную сумку, выкинула половину на постель, потом пробежала в ванную. Н. с любопытством смотрел на вещи, потом заглянул в сумку. Он пытался понять, с кем это свела его судьба. Женщина не была бардом – иначе на видном месте имела бы хоть какая гитара. Не была она и подружкой кого-то из бардов; вообще, сдается, была на фестивале чужой, иначе сейчас в номер уже сбежались бы охотники привести себя в чувство халявным горячим кофе.

Вернувшись, она быстро оделась. Ее костюм был, в сущности, офисный – юбка по колению, короткий и сильно приталенный жакет. Но на деловую даму она никак не походила. Деловая дама хотя бы сгрела вещи обратно в сумку, хотя бы накинула на постель покрывало.

– Идем, радость, – сказала она и повела Н. по коридору мимо лифтовой площадки и приличной лестницы к лестнице пожарной, о которой он даже не подозревал.

Пансионат был выстроен в полукилометре от поселка, большинство услуги там и наняли. Женщина знала эти места неплохо и сразу привела Н. к местному торговому центру. Выбор там был невелик, но она отыскала черные джинсы и дорогой пушистый джемпер. Н. смутился – таких царских подарков ему еще никогда не делали; бывало, дарили хорошие вещи, но уже поношенные; новых у него, сдается, с самого детства не было.

– Одевайся, будешь хоть на человека похож, – приказала она.

Он все еще никак не мог спросить ее имя. Наконец на обратной дороге набрался мужества.

– И в самом деле... – задумчиво произнесла она. – С одной стороны, вроде и незачем, а с другой... Есть! У меня ник «Соледад». Вот так меня и называй.

– А я Амарго.

Она посмотрела на него холодно и с укоризной. «Я совершенно не желала этого знать», – говорил ее взгляд. «Затянувшееся детство – дурной знак», – добавило ее молчание.

– Это ролевушный ник, – объяснил Н. Он дружил с ролевиками, даже на игры ездил, когда больше некуда было податься. Ролевушная тусовка – это, кроме всего прочего, сотня адресов, куда можно вписаться на ночь-другую.

– Он что-то для тебя значит?

– Да ничего, просто красиво... – и тут Н. понял, что она вспомнила это имя. Где-то в ее памяти было, оказывается, место для красивых имен.

– Идем, – сказала Соледад (он сразу освоился с этим именем, потому что привык к тусовочным прозвищам; ролевики могут пользоваться их годами, зная не зная, какая у приятеля фамилия).

Старые штаны и водолазку им упаковали в красивый мешочек, Н. помахивал им, шагая рядом с Соледад, и пытался выведать, каковы ее планы. Он бы охотно сходил на концерты – после Сидяковых пели еще ребята, он вспомнил их, вечером вообще было задумано целое представление, песенная дуэль с судьями и призами. А если не песни – то в номер, продолжить так удачно начатое знакомство.

Возле пансионата был просторный парк, довольно ухоженный, Соледад свернула туда, повела Н. к бассейну, к фонтанчику, дальше – к стенке из плотно стоящих высоких туй, вдоль которой можно было шагать долго, огибая корпуса пансионата и служебные здания. Он покорно шел за ней, уже боясь что-то предложить. И чувствовал: опять в женщине зарождается то болезненное напряжение, которое во всей красе явилось вчерашним вечером.

Что-то с ее приездом было не так.

Дорожки парка освещались черными фонарями на старинный лад. Удивительно, но они и сейчас горели. Н. помнил эти фонари – он видел их на мосту, но через какую реку? Через любую. Толстый чугунный столб венчался тремя фонарями на изогнутых ветвях. Было ли это красиво, Н. не знал, но ощущение беспокойства вызывало точно. Тем более что аллея повернула к солнцу. Осеннее солнце поднималось невысоко, и сразу же на серый песок легли две очень длинные тени. Соледад шла впереди, и ее тело стало плоским черным старинным силуэтом. Н. отметил походку – словно по канату, отчего тень не имела ног, а колышущуюся узкую юбку.

Соледад повернулась к нему и заговорила стихами:

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня,
И голос женщины влюбленной,
И скрип песка, и храп коня.
Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет как снег...

Н. мало чему учился, стихи оказались незнакомые. Но чутье он имел. В этих стихах совершенно лишней была рифма, если бы без нее – получилась бы чудная японская танка. Японские стихи он любил, любил и рубаи – все, где мысль была краткой и выражалась так же кратко. В шести строчках неведомого русского поэта явилась подлинная японская моно-но аваре – печальная красота быстротекущего мгновения.

Продолжать Соледад не стала. Из-за поворота вышли другие черные силуэты, она замедлила шаг и взяла Н. за руку.

Его пальцы ощутили лед. Не просто холод, а лед, природа которого была ему пока непонятна.

Он уже знал эту особенность Соледад – у нее мерзли ступни и руки, можно было бы просто их растереть, но женщина уверенно шла вперед и тащила за собой недорого купленного мужчину. Ее окликнули бородатые ребята с гитарой, позвали к своей палатке, она остановилась, поболтала с этими знакомыми о других знакомых, повела Н. дальше. Он чувствовал во взглядах какое-то ехидное любопытство. Они вышли из парка, пересекли площадку перед главным корпусом, явились в холл, и там женщине припала охота наблюдать за огромными золотыми рыбищами в аквариуме – розово-золотыми, ленивыми, губастыми, как раскормленные красивые женщины из богатых семей. Н. помнил этих женщин, их свежую кожу и высоко поднятые груди, тогда не считалось необходимым худеть рассудку вопреки, наперекор стихиям. У него и теперь еще были две клиентки, желавшие сохранить для мужей сытые тела – но чтобы эти тела оставались упругими.

Соледад молча глядела, как рыба, взяв со дна камушек дамскими своими губами, поднималась повыше и презрительно его выплевывала. Она продолжала сжимать пальцы Н., словно боялась его побега. Он понимал: ей сейчас нельзя оставаться одной.

– Пойдем наверх, – предложил он.

– Пойдем, – согласилась она. – Только сперва пообедаем. В баре кормят колбасками и пельменями, ни фига себе бар... Но всяко лучше здешней столовки.

Н. улыбнулся – в его бродячей жизни большая миска горячих пельменей попадалась не так уж часто.

Соледад повела его обедать. Почему-то ритуал выбора еды ее развеселил. А Н., наоборот, все более уходил в себя. Н. поймал знакомое ощущение – если выразить его словом, то самым подходящим было бы «сострадание», хотя и оно не передавало чисто физиологической состав-

ляющей, – какие-то взаимодействия внутри ускорялись, избавиться от напряжения помог бы тихий стон, а вот как раз его приходилось сдерживать.

Насколько он помнил, участники фестиваля делились на несколько социальных групп – в рамках того социума, который возникал на три дня и рассыпался. Были аристократы – самые видные барды, получавшие за выступления гонорары, и приближенные к ним лица. Видный – не значит богатый, и бард, оплатив свое пребывание в пансионате, переходил в режим экономии и питался в столовке, чем бы она ни ошарашивала. Были люди зажиточные, приехавшие на фестиваль развлечься, – они желали вбить в три дня свободы все тридцать три удовольствия. Были ветераны, которые не в номерах селились, а обязательно в палатках на берегу. Было юное поколение, которое, кажется, вообще не ело, а сидело на всех концертах с пивом. Было несколько новичков, еще не разобранных в обстановке.

Н., опытный по части тусовочного расслоения, сразу отнес компанию, вошедшую в бар, к аристократам. Они, усевшись, заметили Соледад и стали показывать руками: присоединяйся! Она помотала головой и отвернулась.

Сострадание сделалось сильнее.

Минувшей ночью оно вело себя иначе – вспышка в ответ на вспышку. Н. увидел гибель чего-то такого, чему не нашел бы имени, увидел сверкание всех болевых точек сразу – предсмертное сверкание, ибо они, эти болевые точки, тоже имеют свойство умирать и перерождаться в неживую материю. Он пошел на свет, чтобы прикоснуться руками и вернуть точки к их прежнему состоянию – болезненному, но живому. Это получилось, и дальше все вышло само собой.

Теперь, немного привыкнув к Соледад, Н. принимал тайные знаки ее тела иначе – почти как свои. А себя он, между прочим, научился жалеть – иначе было бы совсем скверно. Он знал, когда надо пожалеть ноги, а когда – голову, и потому нелепое бродячее бытие переносил в общем-то без потерь.

– Пойдем, – сказал он, под столом взяв женщину за колено и тихонько сжав.

Она подумала, встала и прошла через бар такой походкой, что Н. только носом покрутил, – металлическая была походка, быстрая и грозная, как если бы рыцарь в привычных доспехах прозвякал. Идя следом, Н. кинул взгляд на компанию и ничего особенного не увидел – пятеро мужчин, две женщины, возраст – от двадцати пяти до сорока. Это были не те люди, с которыми Соледад сидела ночью. Только высокого бородатого дядьку он опознал – да и мудро не запомнить огромную пушистую рыжую бороду, классический веник, и здоровенную лысую макушку, прямо нечеловеческой величины. Дядька этот как раз и махал руками, призывая Соледад. А ночью она сидела с ним рядом, но он, кажется, тогда не обращал на нее внимания.

В номере Соледад первая взялась за дело. И опять Н. видел – секс как таковой ей не требуется, а требуется обезболивающее. Ну что же, это он умел. И до четырех часов утра они по-всякому заводили друг друга, а в это время внизу звенели гитары, сменялись голоса, летел к финишу фестиваль.

Автобусы подавали после обеда, но Соледад вызвала такси. Ей больше незачем было оставаться на фестивале, ей больше не с кем было там общаться. Н. прямо увидел в ее руке нож, которым она отсекла все ниточки, связывавшие ее с бардовской тусовкой.

– Куда тебя подвезти? – спросила она.

Н. назвал ту станцию метро, что ближе к Сэнсею.

Как быть с этой женщиной дальше – он не знал. Вроде бы ей полегчало. Произошел натуральный обмен – Н. честно отработал ночлег, пищу и подарки. И все же отпустить Соледад он не хотел – что-то ему было за нее беспокойно. Он знал, что травму так просто не вылечишь, – ее можно замассировать, чтобы унять боль и продержаться какое-то необходимое время, потом

же требуется настоящая помощь. Н. замассировал болевые точки, пригасил огоньки, остановил губительный процесс – больше он вроде ничего сделать не мог, но пытался найти способы.

Единственное, что удалось, – обменяться адресами электронной почты. Причем Соледад явно не понимала, зачем это нужно.

Глава вторая

Сэнсей принял Н. так, как если бы ничего не случилось, только посмотрел удивленно на дорогой джемпер. А вот Н. заметил по его поведению, что большой радости за два минувших дня Сэнсей не испытал.

Потом выяснилось – женщина не смогла прийти.

Не в первый раз она звонила в самую неподходящую минуту, кричала, что встретиться нужно обязательно, потом появлялись какие-то немыслимые причины, потом в каком-то при- вокзальном кафе она рыдала на плече у Сэнсея, долго и путано объясняя ему, как так вышло, что любит она его, Сэнсея, но бросить мужа ни за что не может. История эта тянулась лет пять – примерно столько Н. и Сэнсей, кстати, были знакомы. Параллельно тянулась совсем другая история...

– Надо съездить на дачу, – сказал Сэнсей, опять же глядя мимо глаз. – Мать просила банки привезти. И вообще там все на зиму заделать.

– Не вопрос, – ответил Н.

Мать Сэнсея относилась к нему неплохо – насколько вообще можно хорошо относиться к человеку, который валится как снег на голову не менее двух раз в год, живет неделю-полторы, ест и пьет, но даже буханки хлеба в хозяйство не приносит. Однако она была женщина неглупая, видела, что у сына почти нет друзей и с подругой не складывается, а с Н. он вроде оживает.

К тому же Н. помогал ей избавляться от головокружений, а от родного сына, понятное дело, массажа не допросишься, родной сын убежден, что материнские хвори – только повод навязать ему лишнее общение...

Семья у Сэнсея была необычная – мать, бабка, бабкин младший брат, его внучка. Все они жили в четырехкомнатной квартире с несуразной планировкой, женщины и девочка – в одной большой комнате (шестнадцать метров, не шуточки для древней пятиэтажки), бабкин брат – в восьмиметровой, Сэнсей – в девятиметровой, и еще имелась зала с телевизором. Выбрасывать барахло в семье не было принято, и комнату Сэнсея загромодили вдоль и поперек. Чтобы поставить раскладушку для Н., приходилось разгрести кучу ящиков и коробок.

Кроме старой рухляди тут было еще и Сэнсеево оружие – на стенах висели дюралевые мечи, щит, шлем. Сделаны они были коряво – в ролевушной тусовке считалось, что далекие предки и книжные персонажи предпочитали оружие без затей. Не то чтобы Сэнсей был страстным ролевиком – до этого, к счастью, не доходило, но ему требовалось время от времени жить в обстоятельствах, где он мог проявить немирные свойства своего характера – ярость в драке и командирские замашки. То, что в семье он был главным, его не удовлетворяло – мало радости в тиранстве, когда тебе подчиняются перепуганные старухи. А давить на деда он не хотел – деда он признавал почти за равного и сделал приближенным к своей персоне лицом.

Пока Сэнсей готовился к вылазке на дачу, Н. пробрался в угол, где стоял дорогой компьютер со всей периферией. Сэнсей зарабатывал достаточно, чтобы хорошо одеваться и покупать лучшую технику, но накопить на квартиру он никак не мог – труд массажиста оплачивается нерегулярно, и случаются недели безработицы.

Н. был прописан в бесплатном почтовике – том же самом, что и Соледад. Он внес ее в список адресов, открыл окошко, чтобы писать письмо, и задумался. Что-то следовало сказать, а что – уму непостижимо. Поняв, что настоящих слов после такой поспешной разлуки быть не может, он решил послать открытку.

Картинок было море, но копать в розах, усыпанных росой, и в валентиновских сердечках он не стал. На видном месте лежала совсем дурацкая анимированная открытка. Девочка с бантиком смотрела, разинув рот, на чудовищного зайца – дядьку в белом комбинезоне и в шапке с длинными ушами. Когда открытка срабатывала, это убоище прыгало и появлялись

слова: «Я твой зайчик!» Человека, не ожидающего такой пакости, прошибал дикий, до слез, хохот.

Отправив открытку, Н. пошел на кухню – заварить себе чаю. Там уже сидели бабушка с дедушкой, оба они недолюбливали Н., он ушел обратно в комнату Сэнсея – место своей дипломатической неприкосновенности.

– Ну, едем, что ли, – сказал Сэнсей.

Н. прекрасно понимал, что значит грубоватый голос и неуловимые глаза. Но, как у Сэнсея был моральный кодекс Гиппократата, так и у Н. было что-то похожее – он никогда еще никого не бросал. Его – бросали, неоднократно, некрасиво, с шумом, а сам он понятия не имел, что нужно с собой сделать, чтобы проснулась способность бросить человека.

Машина у Сэнсея была скромная – на такой только ездить по клиентам, отираясь в городских пробках, откуда без царапин не выберешься. Дача находилась за городом – не к северу, как пансионат, а к югу. Время – самое неподходящее. Пока Н. добирался с Соледад до Большого Города, пока ехал к Сэнсею, пока сидел у него, стукнуло четыре, надвигался тот страшный час, когда офисный планктон мутной волной выплеснется на улицы. Сэнсей вздумал ехать огородами.

Но в Большом Городе уже много лет играли в народную игру «Перекоп». Как будто летом мало было времени для подземных ремонтов – именно теперь расковыряли нужные улицы. Наконец машина Сэнсея встала в очередь у переезда.

Он явственно злился, и Н. поддакивал ему, чтобы злость не вскипела.

– И вот я выхожу из лифта на втором этаже, – рассказывал Сэнсей. – Ну, думаю, поем, как нормальный человек. А там уже кафешки нет, ликвидировали как класс. Весь тот угол обнесли стеклянной стенкой – знаешь, из мутного стекла. И зафигачили туда филиал какого-то банка. Ну, думаю, и хрен с вами. Иду к лестнице. А мне навстречу – нечто! В костюмчике, в рубашечке, шеенка из воротничка торчит, как у ошипанной курицы. Но главное – глаза. В них столько же жизни и выражения, сколько у того мутного стекла. Но как идет! Хозяин жизни, блин! Старший помощник младшего клерка из банка «Галоша интернэшнл»! Не хухры-мухры! И так мне захотелось на него плюнуть... представляешь – пустое место, самоходный костюм, и эти тупые глаза, которые не видят ничего – только дверь возле вывески...

Н. знал, что означает этот гневный монолог. Роковая подруга Сэнсея как раз в банке и служила, была каким-то непрогнозируемым клерком, яростно делала карьеру. Сэнсей не мог ее ругать при Н. – это означало бы постыдную слабость. Ругать всех женщин-клерков оптом он тоже не мог, а как-то разрядиться хотел, он и без того слишком много обид безмолвно таскал в себе. Подставив вместо подруги этого встреченного года три назад и ни в чем не повинного парня, Сэнсей проклял его отныне и до веку, а Н. просто кожей чувствовал, как приятелю становится легче. Особенно полезна Сэнсею в таких случаях была самая тупая матерщина.

На дачу они приехали ближе к вечеру. Ясно было, что там и заночуют.

Погода малость выправилась, ветер утих, потеплело настолько, что Сэнсей достал из шкафа старые шорты и бросил Н., сам тоже переоделся. Им нужно было перетаскать в машину бабкины заготовки. Старуха все еще варила варенье в классическом медном тазу, переводя горы сахара и клубники, потом это варенье никто не ел, его всю весну раздаривали знакомым. Бабка была убеждена, что именно так лучше всего сохраняются витамины. Кроме того, она припасала кое-что полезное – огурцы с помидорами, замечательную закуску, яблочный сок, сок черной аронии, прекрасно понижающий давление.

Сэнсей вынес во двор два деревянных меча и два шеста-бо. Тут уж глаза отвел Н. Он знал этот сценарий. Ничего плохого в игре вроде бы не было – двое мужчин, одному тридцать, другому тридцать пять, валяют дурака, вообразив себя самураями. Но Сэнсей нуждался в драке не только для того, чтобы избавиться от дурного настроения.

Он был крепкий мужик, этот Сэнсей, если посмотреть: мощное и подвижное тело, хотя уже с животиком, тело – моложе лица, сильнее и выразительнее лица, тело большой обезьяны, ловкой и упрямой. Руки у него были замечательные – округлые, налитые, властные, умные, и не одна женщина глядела на них с явным интересом, когда Сэнсей закатывал рукава белого халатика. Впрочем, легкое возбуждение от действий мужчины-массажиста – дело обычное.

Такие тела, как у Сэнсея, хороши без одежды, а одежда, как нарочно, подчеркивает кривоватые ноги, косолапые ступни. К тому же одежда у мужчины обычно – декорация для лица, лицо же было простецкое, круглое, то при бороде, то бритое – Сэнсей никак не мог определиться. Лысина тоже его не украшала – есть лицо, которым она как будто и ума прибавляет, но Сэнсею ума как раз хватало, ему до боли не хватало шевелюры, пусть даже не такой золотистой гривы, как у Н., пусть просто темно-русой, гладенько зачесанной назад.

Сэнсей орудовал деревянным мечом лихо – Н. только успевал парировать удары. Они и познакомились-то у ролевиков, куда Сэнсея заманили изображать гнома, а Н. подрядился быть эльфом в свите эльфийской принцессы. Сэнсею выдали страшную кольчугу из толстой веревки и бороду, Н. получил зеленые лосины, коротенький камзол и берет с пером. Одевшись, он вышел к девочкам и получил две минуты восторженного визга: эльф натуральный! В двадцать пять он имел свежую мордочку семнадцатилетнего. В тридцать, впрочем, тоже не сильно постарел.

Наконец Сэнсей загнал Н. в угол. Это был настоящий угол, где сходились два забора, высокий дощатый, серый и мохнатый от времени, и штaketник, выкрашенный два года назад зеленой краской. Как и полагается, вдоль них росла высокая крапива, но было и кое-что получше – рябиновый куст. Этот куст Н. заметил уже давно: он каждый год вывешивал особенно крупные грозди ягод изумительного цвета – не оранжевого, как многие рябины низкого пошиба, а истинно рябинового, который ни с чем не спутаешь.

Н. остановился у куста, подняв меч и левую руку. Он признал свое поражение. Сэнсей же опустил меч и глядел на Н., словно оценивая эстетическую сторону капитуляции: тусклая зелень веток и насыщенный тон ягод, белокурая с золотом шевелюра, тонкое бледное лицо (глаза посажены слишком глубоко, нос чуть длиннее классического и островат, но цветовой гаммы это не портит), белая кожа противника, не тронутая загаром, шорты защитного цвета...

Сэнсей ощутил ту самую презрительную жалость, на которой не раз ловил себя. И какая еще была бы возможна по отношению к человеку, не умеющему защищаться? Сам Сэнсей сейчас считал себя бойцом, причем бойцом настоящим, по праву рождения, потомком длинной цепочки неутомимых победителей.

Он был победителем, Н. – побежденным. А к своему побежденному можно даже нежность проявить.

Н. не мог бы объяснить словами, что происходит в голове и в душе Сэнсея, хотя на бессловесном уровне все прекрасно понял. Давний вечер, когда было выпито ровно столько, чтобы проснулось дурное любопытство, до сих пор высывался иногда из смутного пласта под названием «прошлое» и подсказывал...

Решительное «нет» ничего бы не изменило в их отношениях – они остались бы приятелями, и только. Вся беда была в том, что Н. не умел говорить «нет». Точно так же, как не умел мыть за собой посуду: знал, что это необходимо, а собраться с духом не мог.

Впрочем, он и «да» не сказал.

Точно так же, как он позволил Соледад взять себя и увести, он сейчас даже не ответил Сэнсею хотя бы нахмуренным взглядом – то есть вообще никак не возразил. А вся беда была в том, что он ощущал внезапную жалость, которая парализовала его. Он видел, что Соледад колобродит от бабьего отчаяния и непременно хочет показать всему миру, как она справилась с ситуацией и вдруг стала счастливой. Он видел также, что Сэнсею плохо, а другого утешения он себе не представляет – не водку же пить до полного выпадения из реальности, в самом деле.

А тут еще рябина во всей своей осенней женской красе...

Н. стоял под этой самой рябиной и все яснее понимал: связал его черт с Сэнсеем одной веревочкой, нехорошей какой-то веревочкой, идти на поводу у Сэнсея нельзя, а возразить ему невозможно. Ибо не в первый уж раз создают они оба это пространство утешения, в котором Сэнсей, наверно, осуществляет торжественную месть своей капризной подруге – месть, о которой она никогда не узнает.

– Да, так вот, – сказал Сэнсей. – Я тебе еще не все про семинар рассказал. Жаль, что ты не видел этого японца...

У Сэнсея были деньги, чтобы ходить на семинары по восточной медицине и получать сертификаты – запрессованные в пластик грамоты, дававшие ему право зарабатывать немалые деньги. Н., даже переняв у Сэнсея приемы и хватки, такого права не имел. В самом начале их дружбы Сэнсей ругался, посылал Н. хотя бы на курсы медсестер, чтобы заработать простенький диплом о самом примитивном медицинском образовании. С таким дипломом можно двигаться дальше. Но у Н. голова была как-то странно устроена – тупые обязательные сведения в ней не застревали. Да и какова роль головы в деле, осуществляемой руками? Весь ум массажиста во время сеанса помещается в кончиках пальцев, а помимо сеанса он спит.

Н. и Сэнсей пошли на кухню – там следовало упаковать кастрюли со сковородками и все мало-мальски ценное, потому что бомжи, зимой вскрывавшие дачи, могли унести даже кружку с отбитой ручкой. Сэнсей за чаем много чего наговорил про японца, потом сам помыл посуду. Н. все понимал и покорно ждал, чтобы его уложили на широкую продавленную тахту и стали на нем показывать все японские хватки – до определенного момента... и руки уже проснулись...

Все так и вышло.

А потом было прохладное утро – они забыли закрыть окно, и на рассвете в комнате сделалось зябко. Н. встал, подошел, взялся за створку – и остался у того окна, глядя на соседский сад.

Обычно, когда они валялись дурака во дворе, он сада не видел, а только дощатый забор. Теперь же, оказавшись повыше, он обнаружил, что там растут яблони, и по неизвестной причине яблони эти сохранили свои плоды. Яблоки не опали и не были убраны, а остались на ветвях – и большие светлые, и маленькие краснобокие.

Натянув джинсы, надев куртку, Н. вышел на веранду, спустился во двор – и опять забор скрыл от него наливное богатство сада. Одна лишь ветка, перевесившись, поманила его десятком яблок, и Н. пошел было к ней, но остановился.

Яблоки были чужие, хоть оказались на территории Сэнсеевой дачи, но все равно чужие. Взять их он не мог. Пальцы бы не сомкнулись на прохладных яблочных боках, а пальцам своим он доверял и умел слушать их подсказки.

Н. мог взять лишь то, что ему давали добровольно.

А здесь звучал безмолвный запрет.

Опять же не в яблоках было дело. У Сэнсея и свои яблони росли, на кухне стояла большая миска – бери не хочу. Сад тянул к себе Н. – особенно сейчас, став незримым.

Огромный пустой сад – как будто люди в нем не появлялись, сад, от которого веяло вечностью, – словно яблоки созрели в первые часы сотворения земного мира и опадут в последние часы. Стоя во дворе перед забором, Н. видел внутренним зрением стройные ряды красивых яблонь, их великолепные кроны с нереальным количеством безупречных плодов и вдруг заметил шевеление меж ветвей. Что-то золотое промелькнуло и растаяло.

Желая разглядеть загадку, он невольно привстал на цыпочки, вытянулся, подавшись вперед и сохраняя равновесие, доступное лишь танцовщицам. Ветви сдвинулись немного вниз, и Н. увидел большого золотого кота в развилке ветвей. Кот лежал царственно, свесив лапы, глядя внимательно и спокойно, как подобает хозяину.

Эта сентиментальная картинка потекла вниз, кот исчез, и теперь уж Н. видел сад так, как если бы забрался на крышу Сэнсеевой дачи. Вдали стоял дом, в котором, похоже, жили люди – синие ставни его были распахнуты, оконные стекла чисты. Но других признаков их присутствия Н. не обнаружил.

Где-то когда-то он уже видел такой сад, не во сне, наяву, и даже не однажды, но где – вспомнить не мог. Сад и дом, в нем стоящий, появлялись и исчезали с пути, словно кто-то говорил: и не мечтай, а вот тебе твоя дорога...

У Н. никогда не было дома. Квартира, в которой одиноко жила мать, домом не считалась. Он потому и ушел оттуда, что не мог жить в тех стенах, под тем потолком. Смолodu и сдуру он решил, что его домом станет дорога. Не мог он любить кирпичи и бетонные блоки, разве что деревянный сруб ему бы понравился, но не сам по себе. Дорога растянулась на десять лет. Выходит, он просто не знал, что дом должен стоять в саду, составляя с ним нечто неразделимое. Вернее, дом должен быть рожден садом – как в это утро.

Устав вглядываться, Н. позволил картинке подняться вверх, дом скрылся за яблонями, Н. снова увидел кота, а потом – край серого забора.

Оставалось только опуститься на пятки.

Если бы это было во сне, Н. перелетел бы через забор в сад. Но это было наяву – и он знал, что такой полет невозможен, невозможен не сам по себе, а запрещен. Запрет допускал прикосновение взгляда, но не тела, охранял и ту изобильную ветку, и даже дырку от сучка в досках забора, которой можно было бы, прикинув, коснуться ресницами.

Он вздохнул. Все в жизни было неправильно, все не так.

Подумалось, что неплохо бы вернуться в ту точку на жизненном пути, откуда началась неправильность. Но он понятия не имел, где она. Возможно, точка отыскалась бы в том году, когда он двадцатилетним, измучившись попытками жить как люди, ушел из дому. По крайней мере так ему казалось.

Но вернуться к матери навсегда он не мог. Она не пыталась его приручить насильно, она даже перестала ругать за вечные и непонятные странствия – она вообще разговаривала теперь крайне мало, вернувшись после ухода второго сына к давнему своему безмолвному состоянию. А только он понимал, что старая женщина каким-то образом виновата в его вселенской непригодности к быту. Жить рядом с ней, зная это, жить в кружевном мире, который она молча за десять лет пунктирной разлуки вывязала вокруг себя, развесив тонкой работы шали и покрывала, он бы не научился.

Ее руки удовлетворялись делом, ремеслом. Его руки искали людей.

И снова вспомнилась Соледад.

Н. уже знал, что это испанское слово. Он поискал в Сетях – и обнаружил, что так звали женщину из стихов испанского поэта. Его собственный ник, Амарго, был взят у того же поэта женщиной, с которой Н. провел в юности несколько дней. Это был ее единственный подарок.

Нуждался ли он в подлинном имени Соледад? Они как-то обошлись без имен. Он даже не помнил, назвал ли ей свое; во всяком случае, вслух она его по имени не звала.

Amarго – тоже испанское слово, подумал он. Девушка, которая назвала его так однажды, увлекалась испанской поэзией. Что оно означало – Н. не спросил, ему было достаточно красоты соединенных звуков.

Если бы у входа в сад стоял часовой и спросил Н., как его звать, то, возможно, услышал бы в ответ – Амарго. И впустил бы. Своего паспортного имени Н. не любил, оно за тридцать лет так и не приросло к нему. А чтобы войти в сад, требовалось имя, в котором – музыкальная фраза, созвучная душе. Амарго – звучало в лад. А Соледад? Соледад и Амарго – пара, подумал Н., и надо же было им встретиться...

А вот имя «Сэнсей» не звучало. И часовой, услышав его, покачал бы головой – нет. Амарго и Сэнсей – это нечто несообразное.

Сад за дощатым забором тихонько пел. Не птичьими голосами, а иначе. Уловив это пение, Н. напрягся – и тут же оно растаяло. Так бывало не раз и не два – музыка пропадала, стоило начать ее слушать внимательно. Но сейчас получилось особенно обидно.

Н. положил на забор ладони, ощутил мелкие колючки, но и вибрацию тоже ощутил – как будто по ту сторону некто иной коснулся досок кончиками пальцев, и пальцы необъяснимо совпали. Иной явственно его отталкивал.

Все это было очень грустно.

И не хотелось возвращаться в поток времени, все быстрее подтаскивающий к общепринятому утру, к хриплому спросонья голосу Сэнсея, к еде и питью, к возвращению в Большой Город.

Рябиновый куст притянул к себе взгляд. Он пытался поделиться своей независимостью, да только язык его сейчас был почти непонятен. Рябине-то легко, подумал Н., рябина держится корнями за землю и может себе позволить быть бесполезно красивой. Хороша бы она была, если бы земля под корнями растаяла...

Н. редко принимал решения сам. Даже уход из дому был не сознательным решением, а сочетанием совпадений. Но, стоя во дворе лицом к забору, он ощутил боль при мысли, что Сэнсей будет вести себя как ни в чем не бывало и, взяв Н. с собой, поселив опять в своей комнате, произведет в голове нехитрые расчеты: сколько дней сытой жизни причитается за покорность этому бродяге.

В отношениях с Сэнсеем следовало ставить точку.

Но именно этого Н. никогда не умел.

Глава третья

Снег все никак не мог обосноваться на земле всерьез. Он пробовал землю на ощупь, находил ее неподходящей и исчезал. Это было сумеречное время, безрадостное и угнетающее.

Н. переждал его в гостях у хорошего человека, ролевика Рогдая. Рогдай был огромен, сварлив, неуправляем. Работать он мог только в одиночку – вот и стал отладчиком программ. Гостей он любил, но учил их, как жить, и потому гости у него не задерживались, женщины – тоже.

Он и в ролевых играх, когда сам не «мастерил», выбирал себе персонажей, наделенных богатырской силой, но не желающих подчиняться. Н. познакомился с ним в лесу на игре «Новгородские былины». Рогдай был там мастером-игротехником и орал от ярости на весь лес, да и кто бы не заорал: не подав заблаговременно заявки на игру, к самому началу прибыли одиннадцать Васек Буслаев в длинных, по колено, вышитых рубахах, в красных плащах, с мечами и палицами; каждый Васка Буслай полагал себя истинным и хотел, чтобы вся игра вокруг него завертелась. Н. изумился, увидев эту нелепую дружину. Сам он не был хорошим игроком и норовил пристроиться к кому-нибудь в свиту – лишь бы три-четыре дня жить в игре, наслаждаться отсутствием реального мира и не беспокоиться о ночлеге и пище. Тогда его взяла в ключники боярыня Марфа, действительно привесила ему к поясу связку ключей, и он всюду ее сопровождал, участвуя в бабьей интриге и тайно передавая берестяные грамотки.

Рогдай разгреб идиотскую ситуацию артистически – отправил Васек единым воинским подразделением воевать чужь белоглазую, которая разбила себе лагерь на опушке с единственной целью – все время игры пить, не просыхая. А Н. случайно помог ему в этой затее – и образовалось некое взаимопонимание. Во всяком случае, у Рогдая вполне можно было зависнуть на неделю. Без роскоши, но она и не нужна человеку, привыкшему обходиться спальным мешком и вокзальными пирожками.

У Н. были путаные планы – он составил себе маршрут по городам, где жили клиенты. При этом он не был уверен, что кому-то из них действительно в это время нужен. В городе, где жил Рогдай, Н. имел небольшую клиентуру – двух пожилых дам и мальчика, страдающего астмой. Специально для него Н. перенял у Сэнсея особую методику массажа грудной клетки, который проводился с хитрой дыхательной гимнастикой.

Курс дамского массажа длился десять дней. Мальчика следовало лечить, сколько получится. Родители платили неплохо, но им и в голову не приходило предложить массажисту крышу над головой. Н. не любил считать деньги, однако тут набегала круглая и неплохая для него сумма – четыреста убитых енотов (Н. все еще вел расчеты в долларах). Четыреста – это даже если немного оставить себе.

Рогдай выбранил Н. за то, что постоянно наступает на выломанную паркетину, и пошел на кухню – готовить ужин. Стряпать он любил, экспериментировал беспощадно, а Н. был очень удобным ценителем кулинарии – ел все, что не шевелится, и нахваливал.

Невольно принохиваясь к запахам с кухни, Н. стоял у окна и прикидывал свои маршруты. В окно он видел большой двор с детской площадкой, вокруг которой выстроились припаркованные машины – как черепахи носами к кормушке. Мир вокруг двухкомнатной квартирki Рогдая, которая была здоровенному дядьке узка в плечах, стал невыносимо черен – фонари и фары подъезжающих машин ничего не меняли, потому что люди в их свете были тоже черны. Н. ощущал это время года как собственную агонию – ему хотелось съежиться, закрыть глаза и исчезнуть из черного мира, чтобы очнуться уже в другом – белом. Привычный к настоящему зимнему холоду, знающий сибирские трассы в самые неподходящие для автостопа месяцы, сейчас он откровенно зяб и даже думал, не завернуться ли в плед с дивана.

Он гладил пальцами шершавый грязный подоконник, когда-то белый. Пальцы не могли оставаться без движения. Н. вспомнил: когда-то где-то читал о женщине, видевшей пальцами, и даже пытался узнать о ней побольше, но не удалось. Он вообще был ленив по части добывания той информации, которая принимается глазами и ушами. Теоретически его пальцы могли видеть под слоем сигаретного пепла и желтыми кругами от кофейных и прочих чашек первозданную белизну, должны были видеть – но ловили совсем иное. Возможно, им мешал холод, что просачивался снизу в оконные рамы.

Н. тосковал о снеге так, как тоскуют о прикосновении любимых рук. Снег был не только праздником для глаза – Н. любил ловить на холодные ладони большие снежинки и разглядывать их изощренную архитектуру. Прикосновение пушистого и обреченного снега было радостным и нежным, внутри отзывались какие-то совсем тонкие и почти беззвучные струнки. И немного жгло под веками...

– Погуляй в Сетях пока что, – сказал, войдя, Рогдай. Он обнаружил, что на кухне уже не осталось чистых тарелок, и пошел собирать урожай с самых неожиданных поверхностей – с диванного валика, с книжной полки, с компьютерного кожуха...

И тут Н. вспомнил голос...

Он плохо запоминал стихи, но эти почти целиком улеглись в памяти с первого раза.

– Вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня, и голос женщины влюбленный, и хруст песка, и храп коня – сразу же прозвучало, как будто осенняя грусть о снеге вырастила, наподобие цветка, другую грусть, грусть иного качества. – Да, есть печальная услуга в том, что любовь пройдет как снег...

Н. сразу выстроил вокруг отзвучавших строк картинку: справа он сам, с попыткой преобразить русские стихи в японскую танку, слева Соледад, которая менее всего наводила на мысли о зиме и всех зимних красивостях.

И этот пейзаж – словно с конфетной обертки, этот мост с фонарями, каждый – в желтом кружке, изображающем свет, и самая что ни на есть купеческая тройка, самое что ни на есть «замри-мгновенье» с воздетыми копытами и взвихрившимися гривами. Только вот голосу влюбленной женщины на картинке места не нашлось.

Как она там?..

Н. почти не вспоминал ту, которую пришлось называть Соледад – по нику электронной почты. А вспоминала ли она любовника по имени Амарго, тоже соответственно нику, – и вовсе неизвестно. На открытку с дурацким зайцем она не ответила.

Вообще-то хотелось ее забыть совсем. Воспоминание о Соледад переплелось с воспоминанием о Сэнсее на даче, как два паучка-косикосиножки, сбившиеся в ком, – поди разбери, где чьи лапы. Слишком близко стояли в памяти эти две любовные постели, совсем рядом, одна уже напознала на другую, и люди на них тоже слились в одного человека без лица, воспринимаемого вне зрения, руками и кожей.

С ним такие штуки уже случались. Он знал эту муку мученическую – когда застрявшее в памяти ощущение не можешь привязать к конкретному человеку. Каждый по отдельности из тех, кто соблазнял и совращал Н., был, скорее всего, хорошим и ласковым, вот только люди меньше всего беспокоились о том, чем занимался Н. вчера и что ему предстоит завтра. Соледад, разумеется, – равным образом...

Где она, куда уехала на такси, выпустив его возле метро, Н. понятия не имел. Она совершенно ничего о себе не рассказала – да и не до того им было. Говорили о ерунде – он только и понял, что Соледад сильно недовольна бардовским фестивалем, дешевыми гитарами, пьяными исполнителями, древним репертуаром. Он даже не пытался возразить, напомнить, что бардам – куда за сорок, откуда там взяться хорошим новым песням? А если прибудился талантливый мальчик с гитарой (талантливые девочки-барды попадались редко, и сам Н. мог вспомнить только одну такую), то этот мальчик недолго будет тусоваться со старыми алкоголиками...

– Фестиваль неудачников, – сердито сказала она, когда Н. попытался вытащить ее из постели на концерт. И опять же – он не стал спорить, по-своему Соледад была права, никто из этих бородатых романтиков не выбился даже на телеэкраны провинциальных студий. Но, с другой стороны, многие сделали карьеру совсем в других областях, а старые песни на фестивале поют потому, что новые сочинять некогда – бизнес, семья, проблемы.

Это было на поверхности, а на самом деле она злилась по иной причине, и сейчас, стоя у окна в ожидании снега, Н. ощутил то же самое, что и в ее номере-люкс, когда она торопила начало близости. Ей было плохо – возможно, ей и сейчас плохо, если она точно так же глядит в черный ночной мир и вспоминает оснеженные колонны. Откуда взялись эти колонны, почему именно они в пейзаже с фонарями и конфетной тройкой?

Прошло достаточно времени, чтобы воспоминание о женщине очистилось от смутного недовольства жизнью и собой, словно бы все нехорошее, налипшее на эту близость, как грязь на сапоги, высохло, раскрошилось, ссыпалось и по ветру унеслось, хотя контуры грязных пятен разглядеть еще можно.

Н. уселся на вертячий стул Сэнсея и положил пальцы на клавиатуру. Что же тут можно написать? Как утешить?

Была бы рядом – усадил бы на стул спиной к себе, прикоснулся к затылку, к шее, нашел под темной ее гривой те точки, которые отвечают за душевное спокойствие. Пальцы бы все сделали сами. А вот если далеко – вообразить разве, как она поворачивается и садится, как убирает наманикюренными руками длинные волосы, перекидывает их на грудь и склоняет гордую смуглую шею... И, вызвав этот немой фантом, протянуть к нему руки в надежде, что каждый палец пустит тонкий прозрачный росток, десять ростков вопьются в голову фантома, начнут вытягивать всю обиду, все смятение... Нет, это не получится, но и смириться пальцы не могут, что-то они должны предпринять...

– Здравствуй, – настучали пальцы. – Деревья почти облетели, скоро закончится осень, настанет зима, а пока я привязан к этому городу, как преступник к позорному столбу. Ни тебе пошевелиться, ни что-то такое сотворить, торчишь на одном месте, а все на тебя смотрят.

Н. опять посмотрел в окно. Действительно, деревья уже избавились от сухой, по-мертвому шуршащей на ветру листвы. Можно сказать, год был на исходе. И лучшее, что было в этом году...

– ... это – ты...

Сказалось так? Сказалось. Почему бы и не написать? Однако не написалось. Он бы мог это передать руками, но не словами.

– Я не думал, что сяду сейчас писать тебе это письмо, – продолжал Н. – Но я запомнил твой адрес, Soledad. Я очень скучаю без тебя.

Было ли это правдой?

Ему действительно сделалось тоскливо, но при чем тут сумасбродная женщина? Просто – осень, умирающая осень, и предчувствие рождения безупречной зимней белизны... Чтобы родилось одно, должно умереть другое, Н. всегда подозревал это, он догадывался, что и собственное его рождение тоже связано с какой-то гибелью, потому он всю жизнь неведомо что искупает...

– Правда – скучаю. Я бы приехал к тебе, но даже не представляю куда... – Тут он усмехнулся. Ни «куда», ни «откуда», ни «зачем»...

Именно так – ни она, Соледад, не знала, куда он отправился, ни он не знал, в каком городе эта женщина выйдет в Сети и откроет его письмо. В чем и заключалась прелесть бесплатного почтовика – пишешь не в страну или город, а просто человеку, как будто пускаешь стрелу наугад, но стрелу умную, которая сама повернется острием в нужном направлении.

– Прости, что я раньше тебе не написал.

Ну и какое тут возможно оправдание? Никто никому ничего не должен. «Прости» – и хватит. После чего, очевидно, следует троеточие – знак глубокой задумчивости. Вопросы невозможны. Хорош был бы вопрос: ну как же тебя, в конце концов, зовут? Или другой: откуда ты на мою голову взялась? Похоже, что странное письмо приблизилось к финалу.

Не писать же, в самом деле, как Н. в странствиях своих сделал крюк и навестил семью...

С одной стороны, сделать это было необходимо – хотя бы посмотреть на ребенка. С другой – смотреть на ребенка пришлось через забор. И следовало бы вовремя отойти от этого забора, чтобы не застучала бывшая жена. Но она застучала.

– Опять ты тут? – спросила жена. – Договорились же!

– Я проездом, – сказал Н.

Он всю жизнь мог бы обозначить этим словом.

– Ну и что? Зачем ты тут мелькаешь? – жена посмотрела на него с выражением «а сейчас я тебя уем». – Может, ты нам денег привез? Саньке комбинезончик купить нужно и зимние ботинки.

У жены было не лицо, а бульдожья мордочка – сильный подбородок и маленький курносый носишко. Уродилась в бату – мама у нее и в пятьдесят гляделась красивее, стройнее, аппетитнее.

Денег Н., естественно, не привез. То есть тех денег, на которые вправе рассчитывать мать его ребенка. Была мелочь, и еще по дороге он остановился в Казани, где у него был один хороший клиент, и сделал шесть сеансов массажа. Получил бумажку в сто долларов и обещание в следующий раз расплатиться более щедро. Деньги Н. вез матери с некоторой гордостью – это было больше, чем вся ее пенсия.

Бывшая жена смотрела издевательски.

– Ребенка ты сделал хорошего, – говорил этот взгляд, – но ведь ради великой цели ты полтора года жил у меня дома на всем готовом, и еще мой папа приткнул тебя на непыльную работенку. А если ты хочешь быть нужным мне и ребенку – будь добр, обеспечивай нас не хуже папы!

Н. покачал головой. Он хорошо помнил ту работенку – продержался там ровно полтора месяца.

– В двадцать восемь лет ты ни разу не была замужем, и не потому, что такая уродина, а просто тебе мужчины действительно не нужны, и ты даже гордишься этим, – мысленно возразил он. – Естественно, твои родители обезумели от восторга, когда нашелся хоть кто-то, желающий законно спать с тобой и исправно поставлять им здоровеньких внуков. Ради этого ты даже снизошла до инициативы. Ты же первая прямо сказала мне, что... А я... Ну да ладно! Ребенок все-таки того стоил!

В общем, тысячу рублей, собрав по бумажке и оставив себе только пару мятых десяток, он ей отдал.

– Кормилец! – сказала Бульдожка. – Добытчик!

Он отдал ей эти деньги, прекрасно зная, что тысячу ее папа тратит на обед, если приходится идти в кафе с коллегами и начальством. Правда, пожрать этот папа горазд. Как-то мать налепила пельменей, и эта бешеная по кулинарной части семейка принялась их уминать, соревнуясь, кто больше. Н. сошел с дистанции после второй миски.

– Слабак! – определил его папочка. – Последний пельмень нужно заглатывать, когда на первом уже сидишь!

Из четырех сотен хотя бы одну следовало переслать ребенку. Остальное – матери на зиму. И опять в дорогу.

Значит, «прости, что я раньше тебе не написал...»

У нее наверняка есть муж, подумал Н., который зарабатывает бешеные деньги и позволяет ей иногда ездить к друзьям на всякие дурацкие тусовки. Но с условием: все спят вповалку,

а она – в номере люкс, все едят бутерброды с колбасой, а она питается в лучшем кафе, какое только отыщет, все разъезжаются на электричках, а ей администратор закажет такси. Пусть все видят, что это – жена богатого мужа!

Или папочка... вроде довольного жизнью, женой и красивым внуком тестя...

Не сама же она зарабатывает столько, чтобы покупать плащ из тончайшей кожи, фантастической красоты белье и серьги с бриллиантами и изумрудами! (Н. не разбирался в дорогой одежде и уж тем более – в камнях, но он прикасался пальцами и к шелку, и к коже, и к серьгам, и пальцы были озадачены.) Если бы она сама заработала эту роскошь, то наверняка бы похвасталась своим ответственным постом, нелегкими обязанностями и выгодными сделками. Была у Н. клиентка, хозяйка ресторана, так все сорок минут, что длился сеанс, она докладывала о своих подвигах, матерно костеря конкурентов.

А Соледад совершенно не производила впечатления деловой женщины, бизнесвумен, танка, который гуляет сам по себе.

Понять, кто она, ему пока не удалось.

– Если честно, то у меня даже нет в моем городишке друзей, которые имели бы компьютеры с модемами, – честно написал Н. – Мы тут живем очень небогато. Вот сейчас маме нужно запастись на зиму дрова. И мы считали – хватит ли одной машины, и не выйдет ли, что в апреле дрова кончатся, как уже было однажды. Кроме того, пока я ездил, у меня переманили двух клиентов. Придется давать в газете объявление. Но...

Деньги у матери, кстати сказать, были. Их прислал старший сын – сам который год не казал носа, но деньги присылал и с праздниками поздравлял. Но она целыми днями вязала. Живи она в Большом Городе, ремесло бы приносило неплохие деньги, а в маленьком было мало охотниц кутаться в ажурные шали. Но она все равно вязала, тратя деньги на дорогую пряжу. Приезжая и трогая ровные столбики, цепочки воздушных петель, дырочки и сложные переплетения нитей, Н. все понимал. Он сам так жил – если бы клиенты не давали денег, он нашел бы возможность приплачивать им, чтобы позволили заниматься ремеслом. Его руки, как ее руки, не могли без дела, но она выбрала красоту, она повторяла красоту, воспроизводила тысячекратно кусочки красоты, как зима – снежинки, он же выбрал иное, или иное выбрало его, сделало его своими руками – понять невозможно...

Письмо улетело, понеслось по кабелю, влилось в поток информации, что стремился от сервера к серверу вокруг земного шарика.

Н. задумался. А если эта шалава напишет «приезжай»? На какие шиши?

Но будет еще хуже, если она этого не напишет, вдруг понял Н. Потому что он ей нужен, хотя сама она может не понимать этого. Нужен, как парнишке, которого допекает астма. Нужен, возможно, и как Рогдаю, чтоб было перед кем покрасоваться стряпней.

Н. понимал это не умом, разумеется, а руками.

Рогдай закричал с кухни – ему требовалась помощь, он не мог одновременно придержать дверцу старой духовки и добывать из нее гусятницу с тушеным мясом. Н. побежал на выручку, потом они разложили по мискам вкусную, хотя и чересчур острую, еду – экспериментатор Рогдай набухал туда всего, что имелось в его коллекции пряностей и специй. Грешно было потреблять это мясо помимо водки – у Рогдая и водочка нашлась, хорошая, не паленка. Водка и мясо привели приятелей в блаженное расположение духа, когда вспоминаются всякие смешные истории и смех выходит куда более сочный, чем на трезвую голову.

А пока они развлекались, на открытой странице почтовика в ящике Н. появилось-таки письмо. Но он этого не почувствовал – он был счастлив, сидя на теплой кухне, наслаждаясь славной едой, вводя себя посредством водки в то состояние, когда мир ярок и прекрасен, а каждое слово собеседника – праздник для души. Он ценил эти передышки в бродячей жизни – и сейчас всей душой любил Рогдая.

Ему не хотелось думать о том, что настанет утро и Рогдай выставит его из дому – с плотно уложенным рюкзаком и бутербродом на дорогу. Ибо к Рогдаю придет мама – прибраться, а она страх как не любит сомнительных гостей. И придется по слякоти выходить на трассу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.